

Ольга Старушко

Родилась и выросла в Севастополе. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в СМИ, рекламных агентствах, компаниях по связям с общественностью. Руководитель секции поэзии Севастопольского регионального отделения Союза писателей России. Стихи публиковались в литературных альманахах «Глаголь», «Парад литератур», «Берега», многих других и в коллективных сборниках. Автор поэтических книг «Корабельная сторона» (2015), «Родительская тетрадь» (2021), «Гласные» (2022).



Феолент

*На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество...*

А. С. Пушкин

(«Чаадаеву с морского берега Тавриды»)

Девочка в платье-матроске читает Пушкина.
Не наизусть — на ощупь. За слогом слог.
Великолепие водное и воздушное
служит ей фоном: закат, но ещё светло.

Белой ротонды подкова, паря над скалами,
держит в объятиях тёмный гранитный знак.
Водит ребёнок пальцем вдоль строк, лаская их.
Сквозь балюстраду хлещет голубизна.

Как передать, чтобы вы это тоже видели?
Ожил случайный снимок, заговорил:
лестница мимо Георгиевской обители,
блик по металлу хромированных перил.

Словно вне времени платье-матроска детское,
даль неоглядна, выгнут небесный свод.

...И на уступе Пушкин стоит с Раевскими —
ровно за два столетия до того.

Вечность густая настолько, что можно пить её.
Чайки мелькают, и ветер несёт их стон.
Конь от обрыва попятился, бьёт копытами,
ржёт и храпит. Приседает, крутя хвостом.

Юн и порывист, ещё не записан в гении,
Пушкин от груды камней не отводит взгляд,
слыша рассказ: Артемида и Ифигения,
тавры и смерть чужеземцев, Орест, Пилад.

Позже возьмётся перечитать Овидия
и с Муравьёвым-Апостолом вступит в спор...

Камни стены монастырской плющом увиты,
дымкой укрыта линия дальних гор.

Точка на карте, в которой сошлось столь многое:
греческий парус и тысячелетний крест,
флаг на корме — Андрея или Георгия,
флотских архангелов — символы этих мест.

Всё, что ниспослано нам и сполна отпущено,
ждёт лишь касания. Вот же они, азы:
пальцем водить по граниту, читая Пушкина
и от усердия высунув русский родной язык.

Суворов

Не гнулся, словно был из камня высечен.
Резонов к отступлению найти
поныне не смогу не то что тысячу —
по пальцам не сочту и до пяти.
Когда б не сила русского оружия,
кто дал бы вам от басурман вздохнуть?
Не гетман, не предатели-хорунжие,
тем более не ляхи и не жмудь.
Вас турки продавали б полонёнными
и по сей час, когда бы не Москва.
Кто скачет с жёлто-синими знамёнами,
неужли швед? Я и его бивал!
Беспамятен народ, земля которого
добыта мной. Но совесть не в чести.
Вам впору бы молиться на Суворова.
Что памятник? Позора — не снести!
Покинув Киев, постою в Швейцарии
седым напоминаньем о войне,
когда мы с Альп лавиной, а не армией,
свалились им как на голову снег.
Нет, монумент убрать — не главный стыд ещё.
Позорней, что средь киевских мужчин,
воспитанных в суворовском училище,
на помощь мне не вышел ни один.
У тех, кто выкорчёвывал историю,
нет никакого права, хоть убей,
на мой редут в Крыму под Евпаторией,
Очаков, Ахтиар и Хаджибей.
Без нас из вас уже однажды выросла
дивизия СС «Галичина».
Пусть там, где нерусь погоняет вирусью,
бесславы и позор не имут дна.

Пробоины

Когда «Меркурий» выходил из боя
с османами, пробоину борта
один матрос решил закрыть собою
и, в корпус вмят бревном, остался там.

Последний штурм. Обстрел донельзя лютый.
Нахимов нам наказывал: стоять!
А что в столицах: всё балы-салюты?
Ну так судьба у каждого своя.

Мы отступаем сквозь огонь и воду:
бои да грозы — не до медных труб.
Ушли из Севастополя сегодня,
и чёрен дым над бухтой поутру.

Затоплен флот. Нет горше, братец, лиха.
Но тот герой и через годы спас:
он корпусом прославленного брига
понтонный мост удерживал для нас.

Вопросов уйма. Все, как штык, прямые:
доколе нам, за мужество и честь,
не знать ни званий, ни имён-фамилий,
которые у всех ошибок есть?

Гранита не достанет, чтобы высечь,
кто обречён был оставаться здесь
на смерть и плен — все восемьдесят тысяч
по берегам у мыса Херсонес.

И в девяносто первом нас не спросят.
Что мы, когда идёт ко дну страна?
И вновь на штурм подкатывает осень.
Но родина-то выстоять должна.

Её, как прежде, закрываем телом,
«Новороссийском», «Курском» и «Москвой».
И всё трубит в парадной форме белой
архангелов оркестр духовой.

Икона

На второй седмице поста
явь пронзительна и проста:
воскресенье неотвратимо.
И Георгий вознёс копьё,
и разящее остриё
отливает огнём и дымом.
Где венец не снимал Христос
из осколков кованых роз
и земля ходуном ходила,
все, кто рос на войне, — герой.
Все, кто пали, пополняют строй
ополчения Михаила.
Всем иным — повторять канон,
разносящийся в унисон
с лязгом, шелестом, визгом, воем:
был безгласен я, глух и слеп.
Подающий им жизнь и хлеб
смертью смерть попирает воин,
отворяя проход из тьмы,
жизням их возвращая смысл —
непреклонен, правдив и грозен.

За Донбасс! На иконе там
у рыдающего Христа
на щеках высыхают слёзы.

Березина

Кончено, мсье, n'est ce pas?
Le Général Hiver
вами придуман.
Не стоило лезть в берлогу —
спал бы медведь и спал.
Грозен он, лют теперь:
ваши войска устилают костями дорогу.
Брошен с чужим добром
в рыхлом снегу обоз,
во поле ветер треплет штабную карту.
Лечь умирать в сугроб —
чай, не железный гвоздь
в Монце стащить из короны у лангобардов.
Пятое декабря.
C'est la Berezina.
Воды её лишь для наших полков застынут.
Русь не будите зря:
встанет, разъярена,
и на прощание стиснет, ломая спину.

Дорога

Вещмешки никто не тронет. Южный вечер тих.
Парни в форме на перроне курят на троих.
За составом маневровый коротко гудит.
Изредка роняют слово. Шлемы на груди.
Шелестят стручки акаций. Кто-то из парней
клонит ветку — подержаться как за руку с ней.
Пятна тени, пятна света: тени глубоки.
Медлит он, от ветки этой не отняв руки.
Командир махнул: посадка, даже не сказал.
Плитки выщербленной кладка. Дремлющий вокзал.
Рассветёт — и поле в окнах: жирная земля,
смуглый спеющий подсолнух, трактор, тополя.
Что напишешь по-простому, чтобы не навзрыд?
На платформах под Ростовом техника стоит.

Дальше речка, за Аксаем цапли на песке,
женщина идёт босая с удочкой в руке.
Под вагонный стук да тряску отходя ко сну,
глянь — собор Новочеркаска куполом блеснул.
Что ты, ветер, тучи гонишь? Полегла трава.
Будет за полночь Воронеж, поутру — Москва.
Только сердцу нет покоя. Сердце, не боли.
Докурили на Лихой и в Каменской сошли.
Где они, теперь не скажут. В битве ли, в пути?
Помолись, как видишь наших. Вслед перекрести.

По старому стилю

Набрать побольше воздуха
уже не получается.
Дары, похоже, розданы.
Садятся в воду чаицы.
Им в мареве постанывать
над сонной Балаклавою.
Верха сетей расставленных
обсижены бакланами.
Как будто ветру молятся —
а это крылья сушатся.
Ступени в пятнах кольцами
от падалицы грушевой.
А к пальцам льнут инжирины,
лоснятся виноградины,
попробуй удержи меня,
спеши меня порадовать,
пока не улетела я.
Вцепились в камни каперсы.
И солнце угорелое
стремглав под гору катится.
И переполнен жалостью
вечерний возглас горлицы.
А лето всё кончается
и вот сегодня кончится.

Внеклассное чтение

*Мы знаем по школьным азам,
кому причиняют зло,
зло причиняет сам.*
У.Х. Оден («1 сентября 1939 года»)

Забавы в столице: каникулы, фестиваль,
газон аккуратно подстрижен, стоят палатки.
И вспомнят родители: томик, бывало, взял,
фонарик — и под одеяло, читать украдкой.
В Сокольниках детский писатель, покой и мир,
и можно за книгами встретить лучи рассвета
под шорох страниц, а не шелест летящих мин,
которыми нас накрывает шестое лето.

Арине одиннадцать. Книги берёт в подвал,
но большую часть из них прочитала раньше.
Автобус из школы вчера под огонь попал:
вот там было страшно. А с книгой внизу —
не страшно.

Стреляют — высотка ли в городе, частный дом —
приходится к окнам тяжёлую мебель двигать.
В проёмы — матрасы, подушки, мешки с песком.
Но чаще всего от ранений прикроют книги.
К стеклу переплётом — «Отверженных» и «Чуму»,
и главное — втиснуть на полки побольше книжек.
Но нет ни одной, объясняющей, почему
у каждого класса все планы на лето — выжить.

Поэт не ошибся: кому причиняют зло,
ответит не сразу. Но будет с рожденья знать, как
небратья не книги шлют нам — РСЗО,
и полным пакетом приходит его доставка.
А тут первоклашки, линейка, цветы, звонок...
И завуч уедет не в «скорой» — двухсотым грузом.

Отцы, что читали нам Пушкина перед сном,
погибли за право Донбасса читать по-русски.

Нам надо беззвучно усваивать, втихаря,
азы выживания: так и растём без мира,
разучивая по табличкам, не букварям,
всю чёртову дюжину букв «Осторожно: мины!»
И в школьной программе предметы такие же,
как ваши. Но детям Донбасса другое важно:
читаем на НВП или ОБЖ,
где лучше укрыться и как не задеть растяжку.

И в библиотеках мы просим не киберпанк,
не триллер, не хоррор, их здесь наяву — навалом.
В Донецке умелец-механик заводит танк,
винтажный «Иосиф Сталин» угнав с пьедестала.
Из класса, раздали нам памятку, хоть ползком:
пожар — три сигнала, прилёты — один, но долгий.
А если заденут и ЛЭП — никаких звонков,
во тьме по кому ты над школой рыдаешь, колокол?

Мы в курсе про гроздья гнева и корни зла,
но гаубицам по «минским» нельзя ответить.
Чуть старше, чем мы, сопляк, обдолбавшись в хлам,
надпишет мелком снаряд: «Всё лучшее — детям».
И сводки о наших потерях иным — пустяк.
У нас комендантский час и война на вырост,
а где-то, скучая, почитывают в сетях,
кого ещё в мире достанет какой-то вирус.

У Кости в тринадцать полтемени — седина.
Спасал малышей: это всё, что он вам расскажет.
Желание, чтоб ни покрывки катам, ни дна,
дороже ему, чем в подарок читалка-гаджет.

Не то что понять, а прочувствовать всем нутром
сумеет лишь тот, кто на близких смотрел сквозь пламя:
сложившийся дом, переход и вагон метро,
Норд-Ост или смертные списки детей Беслана.
В секунды при взрыве спрессовываются года.
Статистику детской смертности пишут кровью.
А наши родители были детьми, когда
расстреливали Осетию с Приднестровьем.

Читайте про тех, у которых ни глаз, ни губ.
Тела, а точнее, останки увидеть жутко —
рассыпаны чёрными буквами на снегу,
когда попадают в троллейбус или маршрутку.
Про маму, которая прячет нас за диван
(как будто металл не пронизет его обивку).
Про сны под обстрелом в чугунных утробах ванн.
Про то, что к дыханию смерти нельзя привыкнуть.

Приметы жирующей в наших краях беды:
сгоревший детсад, над которым снаряды выли,
ворота-страницы, зачитанные до дыр
от снайперских пуль, с нацарапанным «Здесь жи-
вые».

Детдом, если взрослые падали за спиной.
В площадке у дома воронки — опять тяжёлым.
Когда-нибудь он настанет, наш выпускной,
хотя из убитых уже наберётся школа.

Читайте в бинокли, по лицам и по губам:
мы учимся. И не прощаем. И не забудем.
И вы, кто посеял здесь «Град» или «Ураган»,
однажды поймёте, какую пожнёте бурю.

Время желаний при абсолютном штиле
в августе, на медовом его закате.
Хочется, чтобы все обо мне забыли,
только бы с морем не разнимать объятий.
Кованной медью в нём солнечная дорога —
не горяча, и гладишь её ладонью.
В воду парную упасть и лежать в ней долго,
видеть мелькание рыб в глубине придонной.
Ветер почуять, почти недоступный слуху.
Так принимают безбрежную милость божью —
даже не шепчет, а просто погладит тебя за ухом,
напоминая, что всё преходяще и всё ничтожно
перед дыханием вечности в свете закатном, кроме
чувства родства по душе и составу крови.
Дай раствориться в тебе, напитаться силой.
Пусть это будет всё, о чём я просила.

Накат

Красным светило касается вод,
гасит уголья о зыбь.
Ветер с размаху по берегу бьёт
краем тугой бирюзы.
Где было стрельбище — ставят отель,
но не сдаётся маяк,
так и сигналил огнём в темноте.
Спит вдалеке аквапарк.
Скалы, согретые за день, молчат,
травы ржавеют в пыли.
дикая груша коснулась плеча,
ноздри щекочет полынь.
В ритме наката над степью плывёт
мерный камней перестук:
на тебе волю. Храни же её,
словно огонь на посту.

Артиллерист

Исподлобья глядит на мой обожжённый китель,
повторяя: с позиций прочь меня не гоните.

Если маму убил осколком снаряд английский,
если жил я с отцом на позициях артиллерийских,
вашим был вестовым, господин лейтенант Забудский,
то теперь, когда лёг и отец под огнём французским,
здесь мой порох в картузе да банник — на палке щётка,
драить ствол изнутри, чтоб не прикипали ядра.
Наводит мортиры на цель — что орехи щёлкать,
я научен батей. А большего и не надо.

Из бушлата отцова (ему не по росту) он тянет шею
да гранатной картечью во вражью сыплет траншею.
Разумеет буквы на пушках: война ему вместо школы.
Старый дядька-матрос поспеваает едва за Колей,
а сразят и матроса — один при своих маркелах.
Каждый месяц его боёв засчитают за год.
Каждый залп из его орудий отменно сделан.
Смерть кружит, а нейдёт к нему. Будут потом награды —
от медали «За храбрость» до воинского «Егория».

Комендорова сына окутал туман истории.
Он со взрослыми вместе вышел из битвы последним,
командир батареи мортирной — десятилетний,
и лицо его было так же черно от гари,
что и лица его сослуживцев со Шварц-редута.
И понтонный мост грохотал под их сапогами,
и лежал Севастополь, оставлен, за Южной бухтой.

На горе Воронцовой улица сонна, тиха, тениста,
названа именем Коли Пищенко, артиллериста.

Баллада о парусах

Памяти кораблей, затопленных в Севастопольской бухте при первой героической обороне города: «Три Святителя», «Силистрия», «Варна», «Селафаил», «Уриил», «Сизополь», «Флора», «Двенадцать Апостолов», «Святослав», «Ростислав», «Кагул», «Мессемврия», «Мидия», «Императрица Мария», «Париж», «Великий князь Константин», «Храбрый», «Ягудшил», «Чесма», «Кулевчи», «Владимир»...

Добычу с побеждённого берёт британский флот:
и ядрами, и порохом, и пушками берёт.
Им эта гавань узкая была как в горле кость,
но парусники русские своим топить пришлось,
снимая с них орудия. Изрыты берега,
причалы обезлюдели. Малахов пал курган,
и не на что надеяться. И пушки замолчат.
Прострелен флаг Андреевский картечью англичан.

Везут французы колокол туманный в Нотр-Дам.
А кровь из раны колотой впитает без следа
земля под бастионами. Мелькают среди колонн
британские знамёна и французский триколор.
Пусть их надменность временна, но горше нет вины.
А в море мачты с реями из-под воды видны.
Последнее движение штурвальным колесом.
Закончены сражения эпохи парусов.

Ещё повсюду всполохи, и боем опалён
матрос над бочкой пороха с зажжённым фитилём,
чтоб в ночь, в дыму пожарища, при свете фонарей
ушли его товарищи по доскам через рейд
и, обернувшись, видели как будто наяву:
икона «Трёх святителей» всё держит на плаву.
Шинель пробита выстрелом. В пыли мундир. Постой:
в строю с артиллеристами поручик Лев Толстой.

А ветер сеет брызгами, свистит над головой.
Проиграна не Крымская — предтеча Мировой.
Не просто флот затоплен, а окончен долгий спор:
не взять Константинополя, не покорить Босфор...
Очнётся бухта Южная, и станет мир другим.
Недавние союзники и давние враги,
запомните — осман или британец и француз —
мы кораблей названия учили наизусть.

И город вновь отстроили у белых берегов,
который русской Троею назвал Виктор Гюго,
где крест над Братским кладбищем, где вновь дозор несёт
и порт незамерзающий, и Черноморский флот —
под паром, а не парусом, и на бортах броня —
но в памяти останутся до нынешнего дня
и тот пропахший порохом отчаянный матрос,
и корабли, которые тут затопить пришлось.

Пусть горн поёт над бухтою, и в праздничные дни
горят в ночи салютные цветастые огни,
и в море отражаются. А стены батарей
сквозь годы и пожарища ещё глядят на рейд,
где монумент затопленным поставлен кораблям,
где сердце Севастополя навек. А в море глянь —
парадный строй равняется, когда сейчас и здесь
играет ветер парусом фрегата «Херсонес».

Могилы

Когда в упор в альпийский лёд весной
глядит дыра озоновая — грейся! —
тела погибших в первой мировой
растут из-под земли. Не эдельвейсы.

И кажется, выталкивает их
на свет, наружу — как предупреждение —
позорное молчание живых.

Потеря памяти.

Потеря зренья.

Пока роятся факелы в ночи,
и люди снова заживо сгорают,
и радуются смерти палачи,
не кончена вторая мировая.

И вновь держать дебальцевский окоп,
когда его огнём разворотили
до дедовских могил — и вражьих толп
опять не подпускать к Саур-Могиле.

Предчувствие

За трепетанье листьев на ветру,
бурление теней в потоках света,
сорочьей пары шумную игру
и васильки в овсах за день до лета,
за соль и корку хлеба на столе,
за каждый час, пока родные с нами,
за розу на обломанном стебле,
что я спасу, размножив черенками, —
я наперёд тебя благодарю —
за всякий миг негаданного счастья,
за свет и воздух, коим к сентябрю
я так и не сумею надышаться.

Лицейский друг, любезный Горчаков,
одной у нас коллегии мундиры.
Нам не водить в сражение полков.
Твой зримый путь — всё хлопоты о мире,
а мой — дуга, подобие петли:
от бессарабской степи до Кавказа.
Отчёты в пыль архивную легли,
они не для поэм, стихов и сказок.

Ещё и бритт с французом нам друзья,
ещё мы заодно тесним османа,
но полыхнёт нежданная резня,
и мне встречать арбу из Тегерана,
в которой Грибоедова везут.
Варшавской дверью напоследок хлопнув,
Мицкевич, призывающий грозу,
сам, труся, наостряется в Европу...

Гляди же, Горчаков: опять война
грозит России. И откуда — с тыла!
У недругов всё те же имена,
их ненависть нисколько не остыла.
И чья же сталь в истерзанных полях?
Британский и французский говор, шведский.
И малоросса понуждает лях
нацелиться на мой бульвар в Донецке.

Нет, не тиха украинская ночь.
И не нужны им, чьи уста кровавы —
ни Анна Керн, пленительная дочь
семейства Полторацких из Полтавы,
ни град Херсон, что строил Ганнибал.
Им — слышишь? — мира русского не надо.
Кому б ты думал, тут кричат «ганьба!»,
когда идёт волна пушкинопада?

Когда поверх святынь, крестов, могил
вскипает и бушует пена злая,
нас чохом — всех — запишут во враги
Чернигов, Конотоп и Николаев.
О, я б клеймил мазепиных сынов —
и оттого я им первейший враг
и потрясенье самых их основ:
я, Александр — как Невский и Суворов.
Не в бронзе дело вовсе, не в камнях.
Я — памятник себе. На сём довольно.
А речь, в которой столько от меня,
пусть льётся мощно, невозбранно, вольно,
и возвещая им: не мир, но меч! —
разит вероотступников и катов.
Тут не одним глаголом должно жечь,
идя к победе и верша расплату.

Но, именем моим вооружась,
пусть явит воин мужество и силу,
и принесёт, храня со мною связь,
возмездие клеветникам России.